

Камни Линды

Антология историй жизни эстонских женщин

Перевод с английского: А. Жуматаева
Редактор: Р. Фокин



**Kaasrahastanud
Euroopa Liit**

Глава 22

Путешественница без багажа

Вернуться и обнаружить, что дома, куда можно вернуться, больше нет.

Это было в 1990 году, за год до того, как Эстония восстановила свою независимость. Я приехала в Эстонию впервые с тех пор, как в 1944 году мы бежали от коммунизма. Я приехала в поисках утраченного детства и воспоминаний, которые оказали глубокое влияние на то, что я называю «моя жизнь», которая, на самом деле, была бесцельным блужданием от одной остановки до другой. Как путешественник без багажа я не хотела останавливаться хоть где-то надолго. На задворках моего сознания всегда существовала Эстония и глубокая вера в то, что однажды я вернусь "домой". Эту уверенность разделяют многие изгнанники. Это наша сила и слабость. Большинство представителей третьего поколения эстонцев воспитывались с уважением к идеалам, воспоминаниям, стремлениям и разочарованиям своих родителей, связанных с местом, которое они едва помнили и о котором почти ничего не знали.

Мне потребовалось два часа, чтобы, прогуливаясь по маленькому городку Хаапсалу, добраться до места, которое я всё ещё считала своим домом. Хаапсалу — это полуостров с примерно дюжиной заливов разных размеров, которые очень похожи один на другой. Я искала не улицу, а вид. За пятьдесят лет многое меняется, но море и небо остаются прежними. Я пыталась увидеть, как они сливаются в знакомую картину — как лицо матери для ребенка. Мне было семь лет, когда мы уехали, но я возвращалась сюда тысячи раз в моих снах и кошмарах. Даже сейчас я

не уверена, что это не очередной сон и что я сейчас не проснусь в Англии, Америке или, хуже того, сама не зная где.

Со мной приехал друг из Таллинна. Когда мы дошли до скамейки Чайковского, я поняла, что мы пришли в нужную лагуну, потому что скамейка стояла слева от наших задних ворот перед небольшой рощей. Теперь же она стояла перед большим многоэтажным зданием. Мой взгляд пробежал вдоль тропинки, извивающейся вокруг ограды, до единственного участка, который напрямую выходил к воде, к тому месту, где должен был быть наш дом. Тетя Альма писала, что сожгла забор, чтобы согреться, когда стала слишком стара и больна, чтобы рубить дрова. Но где дом? Дома не было. Не было ни сарая, ни сада. Ничего знакомого. Даже наши высокие деревья исчезли. В моих снах дом всегда был или пустым, или в ответ на мой стук дверь открывали незнакомые люди. Я была готова столкнуться и с незнакомцами, и с отказом, но не была готова к тому, что в единственном и самом важном в моей жизни "возвращении домой" не будет ничего знакомого. Остались только скамейка Чайковского и вид на море. Это было ироничное и символическое подтверждение растраченных мечтаний, не востребованных желаний и явная демонстрация того, насколько глупо оставлять духовное наследие детям, которые не понимают как изменчиво время. Было такое чувство, словно кто-то умер. Я могла бы просто уйти, но меня остановил вид отвратительной подделки, которая появилась на нашем участке.

Это был даже не дом, а причудливо уродливая кирпичная постройка, которая, казалось, не имела никакого видимого предназначения. Ее окна были закрыты гофрированным железом, а стена, обращенная к воде, разрушалась. Вокруг здания были разбросаны битые кирпичи и казалось, будто какой-то злой великан вырывал их горстями и бросал во все вокруг, что когда-то символизировало жизнь и красоту. Пластик и битое стекло еще больше захламляли землю. Рядом

с курятником соседа выжили несколько сорняков и пучков травы, но даже они были желтыми, а не зелеными. Я никогда бы не подумала, что трава может быть уродливой, но здесь она была именно такой!

Эта идиллическая лагуна и променад (Шоколадный променад) когда-то были знамениты, их посещали богатые и могущественные люди со всей Европы, приезжавшие на Грязевой курорт (известный своей радиоактивной грязью). Одним из посетителей был Чайковский, и скамья напоминает о его визитах. На задней стороне скамьи были выгравированы ноты популярной эстонской народной мелодии "Сувенир из Гапсаля" или "Песни без слов", которые Чайковский позднее включил в свою Патетическую симфонию. Скамья разрушалась, трескалась и покрывалась пятнами. Медных нот не было, их украли на металл. Мой друг увидел, что я расстроена, и прошел вперед, чтобы дать мне возможность побыть одной.

Стоя там, ошеломленная жестоким неожиданным ударом по моим чувствам, я заметила маленькую чахлую елочку рядом с тем местом, где могла быть наша грядка хрена. Дерево клонилось в сторону, явно болело, но, тем не менее, цеплялось за землю в поисках поддержки. Я предположила, что это бывшая рождественская ель, которую кто-то посадил в попытке сохранить символ запрещенного в прошлом праздника. Оно выглядело ровно так, как я себя в тот момент чувствовала, и странно, но это дало мне смелости выпрямиться и подойти к передней стене здания и посмотреть, есть ли хоть что-то знакомое во дворе. Наши ворота исчезли, но я увидела место, где недавно были срублены пять наших деревьев.

Среди свежих опилок остались только плоские пни размером со стол, странно непристойные и грубо обнаженные. Их корни, должно быть, проросли слишком глубоко, чтобы их полностью выкорчевать. Окна с этой стороны тоже были закрыты. Запертая на замок металлическая дверь говорила о том, что здание когда-то использовалось.

Я позвала своего друга обратно. Мы сделали несколько фотографий. Меня тошнило, но самообладание помогло мне удержаться от рвоты. (Позже я узнала, что Грязевой курорт Хаапсалу расширился за счет нашего участка и стал санаторием для советских рабочих. Чудовище, которое заняло место нашего дома, в 1970-х годах было грязехранилищем. Теперь оно не использовалось).

Я увидела достаточно, но всё ещё не могла поверить своим глазам!

Следующий раз я вернулась в Эстонию в 1992 году. Эстония уже восстановила свою независимость. Я отправилась прямо к скамейке Чайковского в Тихой лагуне. Разрушающееся грязехранилище стало еще уродливее, потому что окна были замурованы. Осталась лишь разноцветная стена, в которой местные художники граффити увидели невообразимо чистый лист, на котором можно выразить себя с помощью нецензурных высказываний, характерных для молодежи, только что лишившейся гражданских прав. Все вокруг было таким же, как в 1990 году, кроме погоды, теперь было холоднее. Из вентиляционных отверстий санатория извергался бело-черный пар, а сама больница была похожа на огромного дракона, выдыхающего пар и дым из пасти и ноздрей. Но ель оправилась. Выпрямила спину. Удивительно, но и голые пни во дворе ожили и начали пускать новые побеги. Зелёная трава скрыла ужасный мусор, а маленькие жёлтые цветы обещали в будущем лучшие времена. Это обещание новой жизни беспокоило меня, потому что я приехала прощаться. Я приняла свою утрату и пришла возложить венки на свои самые дорогие воспоминания. Я почувствовала себя преданной, внезапно осознав, что я единственная, кто ушел, а для этого места всё еще есть будущее, в котором нет меня.

Вид из кухонного окна

Я родилась в Таллине 12 июля 1937 года. Мои родители, Лики и Энн Тоона, были профессиональными актерами. Они жили в Таллинне. Мама работала в Рабочем театре (Töölisteater), а отец — в Драматическом театре (Draamateater). Видела я их редко.

Я жила в Хаапсалу с бабушкой, которую я называла Мяммя, и ее сестрой, бабушкой Альмой, которую я называла Тятя. Наши задние ворота выходили на променад, и именно эта сторона дома мне запомнилась больше всего. И вид из кухонного окна. Уличная сторона дома была скучной. К тому же мне редко разрешалось заходить в переднюю гостиную. Передняя комната была заставлена мебелью и маленькими фарфоровыми безделушками, которые падали на пол и разбивались, как только я к ним приближалась.

Больше всего в доме я любила кухонный стол. Я часами сидела за ним и смотрела в окно. Бабушка всегда была рядом, гремела кастрюлями и сковородками на дровяной плите. Иногда она варила суп, но чаще всего кипятила грязные носовые платки или постельное белье. Кухонные окна всегда были запотевшими и мне приходилось протирать дырку на стекле, чтобы наблюдать за тем, что происходит в моем мире.

Зимой я следила за цветным шарфом тети Альмы, который подпрыгивал между сугробами, когда она перемещалась между домом, колодцем и дровяным сараем.

Справа от нашего дома находились верфь Петерсона и грязелечебница, основанная в 1821 году доктором Карлом Абрахамом Хунниусом. Специальным поездом на свою частную платформу на станции Хаапсалу приезжали Романовы. Царь надеялся, что радиоактивная грязь излечит его сына от гемофилии.

Господин Петерсон разрешал нам пользоваться его колодцем и расчищал дорожку для Тяти, чтобы та могла свободно передвигаться.

Еще он рубил большие бревна и приносил дрова в кухню. Но прежде чем тетя Альма или мистер Петерсон успевали истоптать снег, мой кот Тоньду уже оставлял аккуратные следы от дома до крыши дровяного сарая. Сидел там неподвижно и смотрел на море.

Справа, рядом с лечебницей, находился курзал, лодочный домик и эстрада. Слева, у скамейки Чайковского, линия деревьев изгибалась, открывая вид на башенную крышу летней виллы, а впереди была открытая вода. Я наблюдала, как вдалеке по льду скользили буера, двигались руки катающихся на коньках людей и даже слышала приглушенные крики и смех. Мне хотелось иметь «финские санки» вместо обычных, на которых меня иногда катали. Мы никогда не катались быстро и никогда не уезжали далеко.

Вечерами, во время заката, Мяммя обычно садилась рядом со мной. Закат был лучшим временем для сочинения стихов. Моя бабушка (Ольга Эльфрида Энно, которую называли Элла) была вдовой эстонского поэта Эрнста Энно. Ее сестра Альма Сауль была старой девой. Жених Альмы погиб в России в какой-то войне. Альма не тратила времени на закаты, она всегда была занята, постоянно в движении: готовила, рубила дрова, носила воду из колодца и работала в саду. Еще она мало говорила. Моя бабушка помогала ей по дому и в саду, но когда она помогала, я тоже «помогала», и мы только мешали.

Нам было гораздо лучше там, где мы рисовали или сочиняли стихи. Мы всегда были вместе, моя бабушка и я: пололи, чистили картошку, принимали солнечные ванны, гуляли по променаду или Вийку (ещё одна из лагун Хаапсалу) или ходили на открытый рынок.

Я любила рисовать. Мяммя была художницей. Она училась у Кристиана Рауда в студии в Тарту и в 1913 и 1914 годах в Атенеуме в Хельсинки, Финляндия. Она «жила» ради своего искусства, так же как Тятя «жила» ради своей музыки. У нас в гостиной стоял детский рояль марки Бехштайн. Обе сестры хорошо играли. Их отец был церковным

органистом в Кодавере, на Чудском озере. Альма зарабатывала на жизнь преподаванием музыки в Ляэнемааской семинарии. Она была уже на пенсии, но по-прежнему давала уроки. В доме всегда кто-то играл: либо ученик разбирал гаммы, либо Альма репетировала для своих воскресных концертов в курзале. Мы жили тихо, медленно и гармонично под звуки Шопена, Бетховена и Баха.

Мне разрешалось выходить в сад одной только в летние месяцы, да и то лишь в теплые солнечные дни. Весной сад затапливало. Я помню запах весенней травы, горький привкус мартовского ветра на языке. Осенью лагуна была цвета начищенной меди, в воздухе пахло плесенью и мертвыми листьями. Но сильнее всего пахло серой, «тухлыми яйцами», особенно когда ветер проносился над баржами с грязью. Баржи раскачивались у задних ступенек санатория, и я уже научилась их отвязывать. Однажды летом я решила «сходить в море». Было забавно наблюдать, как все эти люди собираются на берегу, бегают туда-сюда, машут руками и кричат. Мямма и Тятя тоже были там. Чуть позже рядом появилась моторная лодка, и на этом мое «морское путешествие» закончилось. Мне велели больше никогда так не делать!

Пациенты грязелечебницы отличались от обычных людей. Они не спешили, опустив головы, с огромными корзинами для покупок. Они «прогуливались» медленно, с открытой книгой в руках или с маленькой собачкой, рыскающей рядом на поводке. Я объясняла кому-то, что «собачка на веревочке, чтобы не упасть».

Когда я немного подросла, мне разрешили выходить на улицу. Я садилась на бордюр и лепила из грязи, забивавшей водосточные трубы, горшки и глиняных животных. Бабушка «запекала» их в хлебной печи, но они сразу рассыпались, как и те дни детской невинности. Когда из Таллина приезжали мама и папа, они редко бывали одни. С ними было много людей из театра. Эти люди громко разговаривали, смеялись и приятно пахли. После ужина все собирались в передней комнате вокруг

пианино. Все умели петь и играть, но тётя Альма все равно играла лучше всех.

Когда все собирались в гостиной, я пробиралась следом за ними и, устроившись в большом мягком кресле, слушала эти чудесные звуки. Летом окна были открыты и ветер заносил ноты в белые кружевные занавески, и они тоже танцевали и колыхались в такт музыке. Иногда все это было так прекрасно, что я начинала плакать. (Мяммя рассказывала, что когда мне было около шести месяцев, я начала раскачиваться и издавать странные звуки в такт музыке). Мама водила меня к доктору, но тот ничего не нашёл. Потом я влюбилась в огромный букет пионов и не могла оторвать от него глаз. Я сидела рядом и любовалась, пока он не начал увядать. Это меня ужасно расстроило. Цветы умирали!

Мой дедушка Тамбу (по отцовской линии) умер, и я пыталась залезть в гроб, чтобы спать рядом с ним. "Смерть" этих цветов так меня расстроила, что у меня случилась истерика, и меня пришлось насильно вывести из комнаты. Мяммя дала мне чай с валерианой, чтобы успокоить. Мама снова повела меня к доктору. Она беспокоилась, что у меня не все в порядке с нервами. Потом она подумала, что у меня могут быть особые музыкальные способности. Меня отвезли в Таллинн, в театр. Люди суетились вокруг меня. Меня попросили спеть. Все разочаровались, когда выяснилось, что у меня нет слуха. Я не смогла воспроизвести ни единой ноты. (Я до сих пор не умею петь, но могу сказать, если кто-то поет фальшиво).

Поскольку надежды, что я стану новой Ширли Темпл, не осталось, меня отправили обратно к бабушке, и бабушка утешила меня большой тарелкой каши. Ей было все равно, умею я петь или нет. Ее больше интересовало стихотворение, которое я написала перед поездкой в Таллинн о мухе на кухне с "тысячей глаз". Еще она похвалила рисунок, который я нарисовала к этому стихотворению. Тот визит в театр остался моим единственным воспоминанием о Таллинне.

Надо сказать что (учитывая, что я была дочерью известной театральной пары), я была, вопреки ожиданиям, непривлекательным ребёнком. Я была толстой и у меня было косоглазие. Косоглазие стало результатом несчастного случая, который произошел со мной в два года. Я была в саду с отцом, когда на меня сзади прыгнула большая собака. От резкого удара и поворота головы глазные мышцы перенапряглись. Операция на глазах была бы слишком рискованной в 1939 году, когда Европа находилась в состоянии войны.

Мой отец не любил, когда его видели со мной. Ему было неловко, когда люди, приветствуя его на улице, восклицали: «Так это ваша дочь!» А потом отступали назад: «Aber sie schielt!» («Но она же косоглазая»). Им не нужно было говорить по-немецки, я знала, что они имеют в виду.

В лагерях для перемещенных лиц и в детском доме в Англии дети смеялись надо мной. Мальчики реже, чем девочки, поэтому я играла с мальчиками и очень скоро научилась защищаться с помощью кулаков.

Воспоминания о моем отце редки, разрозненны и не всегда приятны. Однажды, приехав в Хаапсалу, он взял меня на прогулку. Мы ушли не далеко. Он подбежал к ступенькам одного дома на следующей улице, дверь открыла женщина, он вошел внутрь и не вернулся. Я ждала его и ждала. Наконец мне это надоело и я пошла домой одна. В тот вечер я слышала громкие голоса за закрытыми дверьми. Взрослые всегда говорили по-немецки или по-русски, когда не хотели, чтобы я понимала, о чем они говорят. Так я научилась обоим языкам еще до того, как мы попали в лагерь. Свой русский я почти забыла.

Другое воспоминание об отце относится примерно к тому же времени (мне было пять лет). Это был мой последний контакт с ним. Он неожиданно приехал в Хаапсалу. Я сидела на корточках в саду, "варила" суп из травы, когда услышала его голос через открытое окно. В обычной ситуации я бы выбежала его встречать, но его голос звучал так громко и

сердито, что я решила подождать. Я услышала, как Мяммя спросила: "Что мне теперь сказать ребенку?"

Отец ответил: "Скажи ей, что у нее больше нет отца, а у меня нет дочери." С этими словами он вышел из дома, хлопнул дверью и калиткой. Я схватила горсть травы и побежала за ним на улицу. Когда я догнала его, я засунула траву в карман его пиджака.

"Что это?" — спросил он.

"Ничего," — серьезно ответила я. "Но когда ты в следующий раз опустишь руку в карман, вспомни, что ты мой отец и что у тебя есть дочь.»

Когда в 1990 году я вернулась в Эстонию, я узнала, что мой отец всю свою жизнь хранил в своем письменном столе маленький пластиковый пакет с сушеной травой. Мой отец был художником до мозга костей. Он был хорошим человеком, но не семьянином.

Когда я была в Эстонии в 1990 году, его брат, мой дядя Рихард, был уже мертв, а его жена была еще жива. Мне сказали, что она не хочет меня видеть. Еще больше я удивилась, когда узнала, что моя мать "сбежала с немцами". Наверное, хуже всего было узнать, что моей бабушке Тамбу сказали, что я умерла. Возможно, так было проще всего объяснить "вещи, о которых нельзя говорить", но это очень меня задело. Что касается "семьи", то впереди меня ждало еще много разочарований. Изучая архивные записи и письменные материалы (для биографии моего деда) я наткнулась на рассказы о моей семье, которые не соответствовали действительности. Я знала, что люди были вынуждены лгать, чтобы дистанцироваться от родственников, бежавших на Запад, но в случае с моим отцом я почувствовала себя преданной. Он рассказал молодому газетному репортеру, что даже не был в Эстонии в те годы, которые провел с нами. Он сказал, что был "мобилизован" в российскую армию и зачислен в известный ярославский лагерный ансамбль, состоящий из артистов и музыкантов. Я быстро проверила факты в театральном и музыкальном музее. Это оказалось неправдой. Он достиг вершины своей

карьеры в театре, на радио и телевидении, но, поскольку он не вступил в Коммунистическую партию, у него было много врагов и все время он был в опасности. Я следила за его карьерой через его театральные постановки.

Энн Тоона (урожденный Генрих Томсон) умер в 1973 году. Перед его смертью мы обменялись короткими письмами (подвергшимися жесткой цензуре), но он хотя бы помнил обо мне. Один из театральных друзей мамы передал ему мою фотографию (мне тогда было 18 лет). На обратную сторону фотографии она приклеила мое первое стихотворение, опубликованное в лондонской газете на эстонском языке Eesti Hääl («Голос Эстонии»). На фото мои глаза смотрят прямо. Операцию на глаза мне сделали в Англии в четырнадцать лет.

Хотя большинство из вышеупомянутого мне объясняли как «политическую необходимость», а мои разочарования явно были следствием английской и американской наивности, меня это очень задевало. Именно тогда окончательно разрушились тщательно сотканые мамой и бабушкой «воспоминания» о «семье» и «родине», которых, на самом деле, никогда не существовало. Они пытались создать для меня место, куда я могла бы вернуться и людей, к которым я могла бы «принадлежать», чтобы у меня было что-то и кто-то, больше, чем только они двое и то немного, что мы привезли с собой из Эстонии.

В то время я ничего не знала о своем дед-поэте. Он был для меня только «Мутс Папа», я знала его по мрачному, суровому профилю его статуи. Когда мы с бабушкой гуляли по Хаапсалу, то часто останавливались возле нее (у Вечерней лагуны), чтобы отдохнуть. Бабушкины ноги были старые, мои – короткие. Мы быстро уставали. Мы сидели там бесчисленное множество раз и бабушка рассказывала мне об "Эрни", который умер молодым, потому что у него была "душа поэта". Я написала биографию Эрнста Энно и действительно жалею, что не встретила с ним при жизни. Только он мог бы дать мне совет, как

справиться с крахом детских воспоминаний, утратой давних мечтаний и как не искать смысла в вещах, которых больше не существует.

А может никогда и не существовало?

Когда все деревья были хлебом и сыром

«Когда все деревья были хлебом и сыром» - такое название я выбрала для своей автобиографической радиопостановки, основанной на событиях моей жизни. Пьеса была заказана Би-би-си в Англии в 1970 году. В то время я считала название подходящим, хотя, возможно, было бы уместнее использовать следующие строки из стихотворения: "и весь мир был бумагой". С 1960 года я писала короткие рассказы и радиопьесы для Би-би-си, включая телевизионный монолог и стихотворение "Роуз Уоткинс", которые использовались в нескольких СМИ, а также на поэтическом фестивале в Халле. Меня считали "многообещающим молодым талантом". Можно было бы поспорить о том, сколько «жизни» было в тридцатитрехлетней женщине и на сколько она могла быть кому-то интересна? Я писала о своем прошлом; как мы бежали из Эстонии в 1944 году, и что произошло после того как мы прибыли в Англию в 1948 году.

Моё «тихое, идиллическое детство» в компании двух творческих пожилых леди резко изменилось, когда я начала лучше осознавать окружающий мир и понимать, от чего меня оберегают. Однажды в нашей передней комнате поселилась русская женщина-врач и меня больше не пускали ни в Голубую комнату, ни в остальную часть дома. Тятя стала спать на кухне. Мямля стала спать со мной. Музыки больше не было. Однажды, в ту зиму, мы только сели за стол, когда на кухню с оружием наизготовку ворвались русские солдаты и забрали со стола всю еду. Мама как раз принесла с фермы окорок. Мы смотрели как солдаты едят наш окорок и пьяно резвятся у проруби, которую прорубили во льду.

Потом врач внезапно съехала. Мы снова стали хозяевами в нашем доме. На смену русским пришли немцы.

Немецкие солдаты были очень вежливы, аккуратно одеты в серые униформы и блестящие кожаные сапоги. Однажды мы с бабушкой гуляли по променаду, когда навстречу нам вышли четыре офицера. Вместо того, чтобы уступить дорогу, один из них толкнул Мяммя с дороги. Она упала на меня, и мы обе оказались на траве. В другой день мама вбежала в ворота с криком: «Они идут за мной, прямо сейчас. Уведи ребенка!» Бабушка сунула мне в руки ведро, крикнула: «Принеси молока» и так сильно толкнула, что я чуть не упала с лестницы. Она никогда раньше не повышала на меня голос, я никогда не ходила за молоком одна и у меня не было денег. Парализованная ее непривычным поведением, я осталась стоять под кухонным окном. Мама плакала и бросала вещи в чемодан. Но никто не пришел. Никто мне не объяснил, что произошло. Я прочитала об этом в газете в 1997 году. «Лики Тоона была «своим человеком в Гаване», который мог предупредить нас о том, что замышляет враг». (Венда Сыэльсепп, «Ляэнэ Элу», 24 апреля 1997 года).

По всей видимости мама оставила театр и работала переводчиком у немцев. В этом качестве она могла собирать информацию и видела списки людей, которых собирались арестовать. Она могла предупредить, когда за ними придут гестаповцы, чтобы их не было дома. В тот день она увидела в списке свое собственное имя. (Немцы не пришли, потому что в тот день они начали отступать). Началась бомбежка. Тетя Альма загрузила сани одеждой и припасами, и мы отправились на ферму под Хаапсалу, где, как предполагалось, было безопаснее. Мартовские бомбардировки 1944 года должны были стать самыми страшными в преддверии наступления русской армии. На ферме кроме нас были и другие семьи. Мы все жили в одной большой комнате.

Однажды на кухне женщины готовили еду и что-то пекли, а мужчины только что вернулись из леса с бочонками березового сока. Я попросила хлеба и сока, но меня прогнали. Я все еще не привыкла к грубому обращению, поэтому пошла искать бабушку. Был солнечный день, снег только начал таять. Под куполом тающего льда я обнаружила кустик свежих подснежников. Солнце просвечивало сквозь нитевидные кристаллы, освещая золотым светом хрупкие белые лепестки, зеленые стебли и черную землю. Казалось, с неба капает холодное золото. Я долго сидела на корточках, пока рядом не появилась бабушка: «А, вот ты где!» сказала она. «Я повсюду тебя искала».

Бомбежки продолжались. Мы вернулись в Хаапсалу. Господин Петерсон вырыл для нас бомбоубежище. На самом деле это была просто глубокая яма в глубине нашего сада, наполовину заполненная водой. Мямма принесла туда мой ночной горшок, но я отказалась им пользоваться, потому что он постоянно скользил по мокрым доскам. Я устроила такой скандал, что мы все, в конце концов, вернулись в дом. Через несколько секунд бомба упала на сарай и от взрыва одно из деревьев упало на крышу и разбило окно на чердаке.

Мама осталась дома насовсем. Отца я больше не видела. Однажды ночью мама, бабушка и тетя шептались на кухне. Я подкралась к двери и увидела, как они сидят за столом, склонив головы друг к другу. Окно было закрыто толстым одеялом. Каждый раз, когда раздавался грохот, одеяло освещалось вспышкой света, но я знала, что это не гроза. Я вернулась в постель и лежала там, зажав пальцами уши и не решаясь заснуть. Утром мы начали собираться, я не понимала куда мы едем и заплакала, когда мне сказали, что я не могу взять с собой никаких игрушек, только одну маленькую куклу.

Потом я увидела, как мама открыла шкаф в Голубой комнате и достала свою куклу Марию. Она аккуратно положила её на дно единственного чемодана, который у нас был. (Тогда я еще не знала, что

Мария предназначалась мне, когда я вырасту. Мария до сих пор хранится у меня, здесь, во Флориде). Тетя Альма с нами не пошла. Она осталась у ворот и махала нам на прощание. Сказала, что не оставит своё пианино. Все плакали и я тоже, потому что Тоньду не вышел к воротам попрощаться. Кот знал, что мы никогда не вернёмся. Мой отец через общего друга прислал нам письмо, немного денег и пообещал встретиться с нами. Мы ждали его на пляже в Курессааре, но он не пришёл. Мы уехали без него, с нашими пожитками и одним чемоданом, на последней лодке, с последними людьми. Так, вечером 23 сентября 1944 года, мы покинули Эстонию.

Одних унесло море, других ждала неизвестность.

В лодке было много незнакомых людей (незнакомых для меня; наверняка, мама и бабушка их знали). Было темно. Мы качались на волнах, когда рядом выросла огромная чёрная стена. Это был торговый корабль. Капитан объявил, что все, кто хотят, могут подняться на борт по веревочной лестнице. Мама поднялась (не знаю, поднялся ли кто-то ещё). Когда она оказалась на палубе, она потребовала, чтобы нас с Мяммя тоже подняли на борт в деревянном ящике, закреплённом верёвками. Видеть, как уходит мама было страшно, но когда бабушка забралась в качающийся ящик и исчезла, стало ещё хуже.

Я подумала, что они обе меня бросают, и у меня началась истерика. Меня пришлось держать. (Тогда я еще не знала, что сначала нужно было проверить ящик и убедиться, что верёвки выдержат! Я ничего не понимала, но та ночь навсегда останется в моей памяти). Это было начало многих лет ужаса. Корабль, возможно, спас нас (я не знаю, добрались ли другие люди в лодке до Швеции), но он был очень грязным. Полы были скользкими от навоза, коровьего помета и других следов жизнедеятельности животных. Мама заразилась малярией и

впоследствии у нее были приступы высокой температуры и судороги. Судно, очевидно, шло в Африку и перевозило скот.

Бомбежки продолжались и в море. Однажды, когда мы были близко к берегу, мы увидели, что весь горизонт охвачен пламенем. Как-то утром Мямма и я поднялись на палубу подышать свежим воздухом как раз тогда, когда моряки вытаскивали большую рыболовецкую сеть с людьми. Ещё больше людей барахталось в воде среди обломков. Когда сеть открыли, люди выпали на палубу, как рыбы. Мокрые и ошеломлённые, они ползали на четвереньках. Вдруг я увидела молодую женщину с ребенком, привязанным к шее. Он странно раскачивался. Я сразу поняла, что он мертв. Я хотела было вежливо сказать женщине: «Простите, но...», как вдруг Мямма схватила меня за пальто и отвела обратно к нашим вещам.

Воспоминания об этом дне вспыхнули ярко, когда я прочитала о крушении парома «Эстония» - это произошло в том же месте, почти в ту же дату, в сентябре 1994 года. Ровно пятьдесят лет спустя. Некоторые из жертв крушения 1994 года спаслись от торпед в 1944 году. Они вернулись в Эстонию (как и я), не подозревая, что смерть терпеливо ждала их возвращения на протяжении пятидесяти лет!

Война и её последствия: люди проявляют себя с лучшей или худшей стороны, в зависимости от своей природы.

Мы покинули торговые судно в Данциге и пошли по тропе беженцев в Берлин. Бомбы падали днем и ночью. Мы ночевали в подвалах, разрушенных зданиях и бомбоубежищах. В перерывах между бомбёжками мы бродили среди развалин в поисках еды, пока мама не нашла для нас безопасное место в маленькой деревушке Хаусберге недалеко от Миндена. Нас приютила миссис Куирл, вдова методистского священника, она позволила нам жить на её чердаке до прихода союзников.

Война закончилась, но мои худшие воспоминания связаны с днём, когда английские и американские солдаты пришли в деревню и освободили секретный завод боеприпасов, на котором использовался принудительный труд. Освобожденные заключенные начали преследовать своих бывших охранников. Репрессии были быстрыми и жестокими. Однажды ночью на нашем чердаке собралась группа молодых польских дружинников, обсуждали следующую цель, когда моя бабушка заступилась за человека. Он был добр к нам, давал еду и одежду. Лидер группы пришел в такую ярость, что наставил на бабушку пистолет и пригрозил застрелить ее. Вмешалась мама. Мямля осталась жива. Много лет меня поражает, что этот человек остался "нашим другом". Эта пара все еще живет в Нью-Йорке и мы обмениваемся рождественскими открытками каждый год.

Но это не всё, что произошло во время освобождения. После расформирования завода боеприпасов ходили слухи, что он стал мясоконсервным заводом и кто-то нашёл в одной из банок детский ноготь.

Мне было всего семь лет. Меня и мою лучшую подругу Урсулу (ее мать тоже жила на нашем чердаке) предупредили, чтобы мы всегда держались вместе и никогда не теряли друг друга из виду, даже когда играем с деревенскими детьми.

Однажды один солдат спросил, можно ли ему поиграть с нами в прятки и спрятаться со мной. Он предложил мне шоколадку. Конечно, я согласилась. Когда танки впервые прогрохотали по нашим мощеным улицам, солдаты завалили нас шоколадом и жевательной резинкой. Мы не могли думать ни о чём другом!

Вы можете представить, что произошло после, но, как ни странно, это нападение не оставило у меня никаких впечатлений, кроме того, что этот человек пытался на меня «помочиться». Мы привыкли, что мужчины справляют нужду у деревьев, стен, где угодно! Я сопротивлялась, потому что мне было обидно, что он пытался использовать меня вместо дерева!

В конце концов я сбежала с шоколадкой и больше об этом не думала. И когда несколько дней спустя мама отвела меня в нашу комнату и устроила мне самую страшную в моей жизни порку, я понятия не имела за что.

Я была уже взрослой, когда полностью осознала случившееся и паническую реакцию мамы. Но как она об этом узнала? Урсула, которая боялась остаться одна, спряталась рядом в кустах и все видела. Она рассказала своей матери. Её мать рассказала моей. Я до сих пор не знаю, был этот человек англичанином или американцем, потому что не знала, что между ними есть разница. И те и другие говорили по- английски.

Пятнадцать лет спустя мы с подругой путешествовали автостопом по Европе. Мы заехали в Хаусберге, в дом вдовы Куирл. Она открыла дверь на наш стук, и я была потрясена тем, что она ничуть не изменилась, вплоть до чёрного платья с белым кружевным воротником. Даже её волосы были собраны в тот же седой пучок. Она узнала меня и пригласила переночевать. Казалось естественным занять нашу старую комнату на чердаке, но как только я заснула, мне начали сниться кошмары. Подруга пыталась будить меня, но это не помогло. В итоге мы мы прокрались вниз и просидели на нижней ступеньке до рассвета.

В 1945 году, после окончания войны, большинство беженцев были расселены по лагерям для перемещённых лиц. Мама, бабушка и я оказались в Меэрбеке, недалеко от Ганновера. На самом деле лагерь был деревней. Ее превратили в лагерь для перемещенных лиц в наказание за то, что местные жители забили вилами до смерти британского летчика, который упал на одно из их полей. (Мы были в британской зоне). Там нас нашел младший брат Эрнста Энно, Пауль Энно. Наша тройка превратилась в четверку. Пауль служил во Французском иностранном легионе, но пропил свой французский паспорт. Благодаря ему у нас появился «мужчина в доме», который рубил дрова, но у него не было никаких документов, и днём его приходилось прятать. По ночам он и его

собутельники не давали лагерю спать своими пьяными песнями. Я любила своего «Унки», а он любил меня. Я была его Рин-тин-тин!

В Англию, чтобы стать «грязным иностранным багажом».

В январе 1947 года Пауль отправился в Бразилию, где надеялся «сколотить состояние». В мае того же года мама подписала контракт на работу в английском госпитале. Ответы на вопросы о том периоде моей жизни (например, почему я жила в лесу при больнице и почему мне не нельзя было продолжать учёбу) выяснились в 1999 году, когда я читала старые газеты и наткнулась на статьи, написанные в то время, когда мама уехала в Англию. «Ещё 4000 женщин отправились в Англию», писал „Eesti Teataja” («Эстонский Вестник») 5 февраля 1947 года, и «Балтийские лебеди летят в Англию» 14 мая 1947 года.

Работа предназначалась для женщин от 18 до 45 лет, которых набирали в больницы, санатории, дома престарелых и детские дома. Изначально контракты заключались на 12 месяцев, после чего их можно было продлить на срок до пяти лет, что позволяло получить британское гражданство. В контрактах чётко говорилось: «без детей и иждивенцев». Мама все равно подписала контракт на пять лет. Мы с Мяммя остались в Меэрбеке до марта 1948 года, пока бабушка тоже не подписала контракт (ей тогда было 69 лет) на работу в больничной швейной мастерской. Это была больница Айда в деревне Кукридж, графство Йоркшир. Когда меня вели по черной лестнице (я слышала, как повар поляк шептал «всё чисто», а горничные-иностранки просили меня «побыстрее и потише»), я поняла, что что-то не так. Я вообще не должна была там находиться. Я вообще не должна была находиться в Англии.

Комната, в которой жили мама и бабушка, была маленькой и подвергалась регулярным проверкам. Никакой еды. Никаких посетителей. Их даже не пускали в собственную комнату, если они не

были на дежурстве. Каждый день приходили уборщицы. Наши свертки были спрятаны в камине у задней лестницы, который не использовали. Меня прятали в шкафу, под кроватями и иногда даже в самих кроватях. Мы постоянно находились в панике, прислушиваясь к шагам в коридоре, к голосам на лестнице.

Одна из маминых подруг забрала меня пожить на неделю к себе на ферму около Халла. Из этого ничего не вышло. Нас было четверо на одну маленькую кровать. Потом она «арендовала» для меня кровать в соседней деревне Кукридж. Меня пускали в дом в шесть часов вечера, а в шесть утра, когда хозяева уходили на работу, я должна была тоже уйти. Весь день я проводила в лесу возле больницы. Мямма приходила ко мне на «прогулку» во время обеда, её карманы оттопыривалась от еды из больничной столовой.

Маму я видела редко, она была помощницей старшей медсестры и редко была «не на дежурстве». Было неизбежно, что меня обнаружат. «Власти» не очень-то жаловали нашу ситуацию. 1 мая 1948 года меня, наконец, обнаружили.

Меня поместили в детский дом (Детский дом Хедингли, Клифф Роуд, Лидс). Мама отвезла меня туда на такси. Мямма бежала за такси, плакала и махала рукой, но мама сказала: «слезы нам не помогут». Мы стали подданными короны и попадали «под действие закона». «Пути назад» не было, иначе нас вернули бы обратно в Германию.

Начало «собственной жизни», как у взрослых

Я стояла в прихожей детского дома рядом с маминым чемоданом в окружении детей, которые смотрели, хихикали и толкались. Я хотела бы сказать что-то подходящее, но не умела говорить по-английски. (Позже я узнала, что им сказали, что я немка). Одно было ясно, я начала «жить своей собственной жизнью», как взрослые «живут своей жизнью». Я

слышала это выражение каждый день. И все соглашались, что «жизнь» была “põrgu” (адом). Единственный момент, когда «жизнь» не была „põrgu“, это когда я могла спрятать голову на коленях у бабушки, но мне было уже десять, и я была слишком взрослая для этого.

Первые шесть месяцев мне было запрещено общаться с мамой и бабушкой. Они оказывали на меня «дурное влияние» и мешали становиться «англичанкой». Мисс Льюис, заведующая детским домом, называла меня «мерзким иностранным товаром» и «грязным куском иностранного багажа». Так считала вся Великобритания. В 1940-х и 1950-х годах не было никакой политкорректности!

У мамы в больнице тоже была начальница, которая била её и плохо с ней обращалась.

Учителя в моей школе никогда не слышали об Эстонии. Ее не было ни на одной карте. Меня обвиняли в том, что я все выдумала. Для них я была либо немкой, либо русской. В документе, который я получила в 1990-х годах из архива Лидса, я значилась как австрийка.

К тому времени, когда испытательный срок закончился и мне снова разрешили навестить маму и бабушку, я забыла эстонский язык. Мне пришлось учить его снова. Я никогда не ходила в настоящую школу. Мы бежали из Эстонии до того, как я начала ходить в первый класс. Я ходила в школу в Германии, в Хаусберге до тех пор, пока ее не разбомбили.

Обучение в детских домах было ограничено социально-экономической программой (читай «классовой системой»), господствовавшей в то время. Англии требовались необразованные горничные и фабричные рабочие. «Хороших» девочек из приюта отдавали на «службу» в семьи высшего класса. «Плохих» девочек выбрасывали в пятнадцать лет, отправляли работать на заводы и текстильные фабрики.

Когда мне исполнилось пятнадцать, меня вместе с другими иностранными рабочими тоже отправили работать на текстильную

фабрику и я стала ткачихой. Я была самой молодой в «иностранном сарае».

Как только заканчивались трудовые контракты, все спешили уехать из Англии в Канаду и Америку, где можно было жить нормально. Отбор в эти страны был строгим. Брали здоровых, работоспособных молодых людей в парах.

Моя мама была одинокой женщиной с пожилой матерью и дочерью-подростком, но мы снова могли жить вместе, хоть и в одной съемной комнате в «трущобах» Лидса. Было замечательно, что нам можно было закрывать нашу собственную дверь, есть когда и что хотим и иметь собственные ножи и вилки!

Эстонцы традиционно ценили образование, и его отсутствие считалось в эстонской общине «трагедией». (В Англии было немного детей младшего возраста из Эстонии). Каждый родитель был осведомлен о так называемом Экзамене 11+, который разделял детей в возрасте одиннадцати лет (и английских детей тоже) на две вышеупомянутые группы. Любому ребенку, который не сдал 11+ было отказано в дальнейшем образовании.

Я приехала в Англию в марте 1948 года. Мне исполнилось одиннадцать в июле, поэтому тест я должна была проходить примерно через шесть недель после приезда в Лидс. Я не говорила по-английски. После того как я попала в детский дом, меня включили в категории «на попечении государства» и «иностраный рабочий», что означало моё удаление из системы государственного образования на всю жизнь. Эти правила нанесли тяжелый удар по молодым людям, которые уже начали учиться в гимназиях в Европе или посещали университеты. Это было губительно для всех, кто питал большие надежды и мечтал о формальном образовании. Единственным выходом для нас были вечерние курсы, но они не признавались как образование.

Как и в других ситуациях с большинством законов, люди находили способы их обойти. В одном случае девочка была на год младше меня. Ее родители устроились работать в частную школу: мать на кухню, отец в сад. Их дочери разрешили слушать уроки через открытое окно, а когда шел дождь, сидеть тихо в углу класса и делать записи. Когда ей исполнилось одиннадцать, она была достаточно подготовлена, чтобы сдать экзамен 11+. В другом случае мальчика отправили в Ирландию. Но частное образование было дорогим.

Зарплата у «Лебедей» была 64 шиллинга за 48-часовую рабочую неделю. В больнице вычитали 23 шиллинга за еду, комнату и стирку белья. Еще 23 шиллинга (1 фунт 3 шиллинга) мама платила за мою «кровать» в Болленсе, в итоге у нее оставался 21 шиллинг, этого хватало на три банки тушенки. Пара обуви стоила от 25 до 44 шиллингов. Зарплата бабушки была еще меньше, из нее оплачивалась «роскошь» нашей новой жизни: ленты для волос, носовые платки, блокноты для рисования и карандаши, и иногда мороженое (для меня).

Быть ткачихой означало вставать в половине пятого утра, садиться на автобус в 6 утра до Фарсли, начинать работу в 7 утра, а затем возвращаться в Лидс, чтобы успеть на последние занятия в колледже Питмана (стенография, машинопись и английский язык). Домой я возвращалась после десяти вечера! Из-за длинного рабочего дня видела дневной свет только по выходным. Потом произошло нечто странное.

Большую часть моей жизни определяли внешние силы; вы можете назвать их «случайностями», «судьбой» или просто «переломными моментами». Я шла по улице. Мне было семнадцать лет. Было солнечное утро среды. Я посмотрела на часы, было ровно 11 утра и я дала себе обещание: «Я снова буду видеть дневной свет по будням».

На это у меня ушло три года. Однажды, солнечным утром, в среду, ровно в 11 утра, я остановила свои станки, сняла рабочий комбинезон, взяла чашку с чаем и вышла за дверь.

Мои надежды и мечты, которые не желали мириться с реальностью

Хотя срок контрактов истек, британское общество не принимало нас как рабочую силу. Неподалеку даже прошел митинг, протестующий против смягчения закона, который позволял иностранцам «отнимать наш хлеб». Фактически, только две женщины смогли продвинуться по службе, моя мама и еще одна женщина, которая говорила на десяти языках.

Свободно владея английским, стенографией и машинописью, я пошла работать в офис временным сотрудником. Там не нужно было упоминать о моем происхождении. Я мечтала поступить в художественную школу, но государственное образование было для меня все еще недоступно, поэтому я подала заявку на стипендию в частную драматическую школу. Мои родители были актерами. Меня приняли, и я переехала в Лондон.

Скоро я уже снималась в массовке и играла небольшие роли на телевидении и в фильмах категории «Б». («Незнакомец на берегу», «Трое у газовой горелки», «Сеть», «Полицейский хирург» - не могу вспомнить все). Актерская профессия в Англии, увы, была не такой, как в Эстонии и России. Этот недостаток называли эвфемизмом «диван для кастинга». Это была жизненно важная ступень на пути к успеху, но меня она не привлекала. Я потеряла несколько ролей, потому что не была «достаточно дружелюбной» и меня «выписывали» из сценариев, пока я не решила, что актерская игра не для меня. Писательство было гораздо более спокойной профессией. Я начала писать по-эстонски и по-английски, побеждала на литературных конкурсах и делала многообещающую карьеру на Би-би-си... пока не влюбилась и не пустила все на самотек.

Я была ребенком беженцев, у меня не было примера для подражания, я не знала как это, жить обычной жизнью или иметь нормальную семью. Люди, окружающие меня, женились, чтобы уехать в

Америку или Канаду, сложить «весь хлеб в один ящик» или удешевить жизнь. Я ничего не знала о романтической любви. Родители любили своих детей, эстонцы любили свою родину и свой флаг! В эстонской литературе герой всегда выбирает коня или меч, а не женщину.

Влюблена в любовь

Я встретила своего первого мужа, когда училась в театральной школе, снималась в телевизионных сериалах и жила в лондонской ночлежке в Ноттинг-Хилл-Гейт. В ночлежке было полно одиноких молодых людей и студентов, вроде меня, которых целыми днями не было дома. Он был высокий, с экзотической внешностью, британский студент китайского происхождения на год старше меня, заканчивал обучение на Лондонской фондовой бирже. Мы встретились в холле, когда забирали почту, разговорились и я влюбилась в него по уши.

Он не жил дома с семи лет, с тех пор, как его отправили в английскую школу-интернат, потом в частные школы в Швейцарии и, наконец, в Сорбонну в Париже. Он казался таким же потерянным, как и я, и привязанным к традициям, которых не понимал до конца. Его будущее было predetermined (уже была выбрана невеста) и, когда семья узнала, что он влюбился в беженку из ниоткуда, да еще и в актрису, в Сингапуре началась паника! Ему выслали билет в один конец, чтобы он немедленно вернулся домой, иначе он станет «разносчиком молока». Слова его отца, записанные на пленку, предлагали ему альтернативу - стать самым молодым партнером в семейной фирме.

Мы были молоды и идеалистичны. Препятствия воспринимались как вызов. Мы тайно поженились в Паддингтонском загсе в январе 1962 года. Я была уверена, что он ничего не сказал никому из своих друзей и родственников (которые были в то время в Лондоне), но, похоже, кому-то сказал. Он уехал в Сингапур через десять дней после нашей свадьбы и

пообещал рассказать отцу о браке в подходящий момент, надеясь на понимание.

Шли месяцы. Я продолжала сниматься в небольших ролях на телевидении. Мы переписывались, но речь, в основном, шла о том, что "подходящий" момент еще не наступил. Я получила главную роль в драме на Би-би-си-TV "Темнота в полдень". Перед самым началом репетиций мне прислали билет в Сингапур. Он признался, что семья была в ярости, но законный британский брак нельзя было так просто расторгнуть. Я отказалась от роли на телевидении и уехала из Англии в Сингапур, чтобы присоединиться к большой семье, наполовину английской, наполовину китайской, в устоявшемся, но изолированном сообществе британских государственных служащих, бывших колониальных бизнесменов, владельцев каучуковых плантаций и оловянных шахт. У нас был собственный дом, у меня были свои слуги, но наша повседневная жизнь по-прежнему вращалась вокруг семейного бизнеса.

Тогда я еще не умела водить машину, поэтому пользовалась услугами семейного шофера и знала, что он докладывал о моих передвижениях свекрови и свекру. Мне нечего было скрывать, но меня это беспокоило.

Стало ясно, что наш брак был ошибкой. Мы оба изменились за год, проведенный в разлуке. Брак стоил ему машины его мечты (Porsche), а недовольство отца сильно его беспокоило. Он едва знал своего отца, когда его отправили в Европу, и очень хотел ему угодить. Очевидно, из-за меня ему пришлось довольствоваться автомобилем Mini Minor и получить "испытательный срок" из-за недостатка рассудительности. А потом произошел тот несчастный случай! Я продолжаю называть это «несчастливым случаем», потому что называть это как-то иначе для меня просто невыносимо.

В течение года, пока я была в Лондоне одна, я продолжала жить так же, как и до брака. Я играла небольшие роли на телевидении,

работала временным секретарем и почти каждый вечер проводила в своей комнате за письмом. Однажды вечером раздался стук в дверь. Я открыла, думая, что это одна из моих подруг, но там был молодой человек, совершенно незнакомый. Облокотившись на дверной косяк и мило улыбаясь, он сказал: «Если вы приедете в Сингапур, вам не жить», «оставайтесь в живых» или что-то в этом роде. Я даже не помню точных слов, потому что в тот момент не восприняла их всерьез. Я подумала, что он, должно быть, ошибся комнатой, и захлопнула дверь. В доме было как минимум пятьдесят человек, и он мог перепутать меня с кем угодно.

«Несчастный случай», который не был случайностью

Я пробыла в Сингапуре около месяца, когда мы отправились с группой людей на яхте на один из частных островов к югу от Сингапура, чтобы понырять и покататься на водных лыжах.

Я никогда раньше даже не слышала о водных лыжах. Когда подошла моя очередь, я объяснила, что едва умею плавать, не то, чтобы кататься на лыжах. Мне сказали, что я все равно должна попробовать. Находясь в окружении незнакомых людей, я чувствовала, что на меня давят. Парализованная страхом, я собралась и, к своему огромному удивлению, встала на лыжи с первой попытки. Без очков я не могла ничего толком разглядеть. Лодка провезла меня по небольшому кругу и оставила на мелководье. Я поблагодарила Бога, что все закончилось!

Но мое достижение не оценили. Муж обвинил меня во лжи, он не поверил, что я не умею кататься на водных лыжах. Он сильно расстроился еще и потому, что сам пытался встать на лыжи уже несколько месяцев. Ему, да и никому другому, не пришло в голову, что человек с моим прошлым просто не мог раньше кататься на водных лыжах. Чем больше я протестовала, тем больше меня уговаривали снова

попробовать и «доказать». Меня заставили снова встать на лыжи. Мне следовало бы специально «провалиться», но я была слишком напугана.

Я снова напряглась изо всех сил и меня потянули прямо в море. Я едва видела лодку впереди и не представляла, кто ею управляет. Я сосредоточилась на том, чтобы остаться в вертикальном положении. Внезапно лодка сделала резкий поворот. Я почувствовала, как меня бросило вперед по дуге, веревка ослабла, но я продолжала нестись вперед с огромной скоростью. Это было странное ощущение - двигаться по инерции вперед, не чувствуя тяги, но еще более странным было то, что лодка развернулась и направилась ко мне. Я подумала, что она собирается меня сбить, но когда лодка оказалась в поле моего зрения, то взревела и снова резко повернула, достаточно близко от меня, чтобы я смогла разглядеть молодого человека за штурвалом. Я узнала его сразу, даже без улыбки. Это был тот самый человек, который постучал в мою дверь в Лондоне год назад. Как только я его узнала, я вспомнила об угрозе, и все происходящее встало на свои места, когда волна от лодки сбила меня с ног. Лодка умчалась прочь.

Все еще движимая инерцией поворота, я ушла глубоко под воду, считанные секунды отделяли меня от смерти. Все зависело от того, как надолго я смогу задержать дыхание. Я отчаянно хотела жить. Я представила телеграмму, которую получают мама и бабушка в Лидсе: "Ужасный несчастный случай! Элин пропала в море!" И разве было бы кому-нибудь до этого дело, кроме них двоих?

Мне все же удалось перевернуться и вынырнуть на поверхность. Вокруг никого и ничего не было. Ни земли, ни яхты, ни острова. Я держалась на воде, понимая, что пока еще жива, но спрашивала себя, надолго ли? Я чувствовала странное безразличие к своему положению, даже думала о том, как красиво блестит вода серебристо-серыми огоньками. Я, наверное, была в шоке и потому почти разозлилась, когда услышала медленный, равномерный плеск весел.

Приближающееся пятно превратилось в маленькую деревянную рыбацкую лодку с двумя людьми, малайзийским рыбаком и мальчиком (вероятно, его сыном). Должно быть, они видели, как я упала с лыж. Мужчина вытащил меня из воды. Только тогда я увидела, что я вся в крови и на мне только низ от купальника. Я ушла под воду так глубоко, что разодрала кожу и верхнюю часть купальника о кораллы. Это чудо, что меня не обнаружили акулы или другие рыбы, которых привлекает кровь. Рыбак отдал мне свою рубашку и отвез на остров. Я выучила несколько слов на малайском языке и надеюсь, что поблагодарила его, но не помню, чтобы мы обменялись хоть словом. Он высадил меня на мелководье. Я выбралась на берег и пошла к бунгалу. Это казалось нереальным в то время, в 1963 году и теперь, сорок лет спустя, когда я пишу это, я все еще задаюсь вопросом, не приснилось ли мне все это?

Поблизости никого не было, и когда я добралась до дома, казалось я просто вернулась с пляжа. Никто не заметил моего отсутствия, о несчастном случае никто не сообщал. На кухне люди разбирали корзины для пикника. Я спросила о муже и увидела, как он приближается. Он тоже увидел меня. С ним был тот самый человек. «Вот ты где?» Мой муж, казалось, был рад меня видеть. Тот человек (как я потом узнала, кузен) начал размахивать руками и объяснять, как он «искал меня», но указывал совсем в другую сторону от того места, где меня оставил. «Я рад, что с тобой все в порядке», сказал муж. Он не спросил, почему я в крови. Он не спросил, почему я в мужской рубашке. Никто не спросил, в порядке ли я. Я помылась, оделась и, поскольку, не было никого кто мог бы подтвердить то, что со мной произошло, начала сомневаться в этом сама. Однако доказательства - рубашка, потерянный лифчик от купальника, царапины - были налицо.

Когда мы вернулись в Сингапур и остались наедине, я рассказала мужу свою историю и упомянула об угрозе. Он не поверил. Хуже того, счел все «недоразумением». А угрозу шуткой. «Это не могло быть

настолько плохо», - сказал он, потому что я была «целой и невредимой». Он предложил мне забыть обо всем этом. «Ты не можешь так просто обвинять людей». Мужчина, которого я знала и любила в Лондоне, превратился далекого незнакомца. Он был прав, я не могла никого обвинить без доказательств. Отец моего мужа получил Орден Британской империи от короля Георга VI, на яхте присутствовали самые известные люди Сингапура. Никто не захотел бы вмешиваться. Я знала, что придется разобраться с этим самой до того, как произойдет еще один «несчастный случай». Я не могла допустить того, чтобы пропасть где-то в Малаккском проливе в двадцать пять лет, учитывая, что впереди у меня еще три четверти жизни. Этот случай послужил толчком к тому, чтобы я уехала из Сингапура. Муж, казалось, вздохнул с облегчением, когда я сказала, что возвращаюсь в Англию. Поскольку его отец намекнул, что я, вероятно, вышла замуж за его сына «из-за денег», я ничего с собой не взяла. Я даже не попросила денег на билет. Забрала только то, с чем приехала, включая 30 английских фунтов, которые я еще не успела потратить. Я подумала, что 30 фунтов на Дальнем Востоке хватит надолго, если жить как местные.

По суше в Англию: на автобусе и автостопом

Я планировала доехать на поезде до Бирмы, а затем по суше добраться до Англии. Но Бирма была закрыта для западных граждан. Мне ничего не оставалось, как позвонить домой и попросить денег, чтобы добраться до Индии. Муж пришел на встречу с другом. Все мои надежды на то, что он попросит меня остаться, развеялись. На самом деле он, казалось, был смущен тем, что я все еще в Сингапуре. Все это произошло в конце февраля 1963 года. В общей сложности я была замужем десять дней (в Лондоне), год мы провели в разлуке, и два месяца я была в Сингапуре.

От Сингапура до Лондона около 15 000 миль. Живя в Лондоне, я слышала о людях, которые приезжали из Австралии на автобусе, из Коломбо (что на Цейлоне). Я прилетела в Мадрас. Хотя я понятия не имела, где найти этот автобус, я была готова его ждать. После того, что случилось в Сингапуре, я готова была ждать его столько, сколько нужно, жизнь и работа в Индии меня не пугали.

Я нашла автобус практически сразу: каждый в аэропорту слышал о нем. Меня подвез шаттл аэропорта, и пассажиры не возражали против того, чтобы сделать крюк. Автобус, который должен был отправиться в Англию, лежал в канаве возле отеля «Ашока». У него сломалась ось и он ждал запчастей из Бомбея. Сначала австралийский водитель не хотел меня брать, но, в конце концов, вошел в мое положение и я стала пассажиром "The Indiaman" на рейсе, который открыл Падди Гарроу-Фишер, ирландский авантюрист, живущий в Лондоне.

Невероятное путешествие: мир в ином свете

Среди пассажиров были, в основном, пожилые австралийцы и новозеландцы. Была британская пара, бежавшая от восстания Мау-Мау (в Кении) и несколько добровольцев Корпуса мира, которые возвращались домой почти без денег. Вшестером мы, «бедняки», объединили свои ресурсы.

После Бомбея мы натолкнулись на американский туристический автобус. Кажется, он назывался Pen Tours. Американцы не привыкли к суровому климату и лишениям и автобусы объединились для компании и для защиты от бандитов и диких животных.

Оба водителя были вооружены. Когда автобусы останавливались, мы общались с американцами. Для нас их автобус казался верхом роскоши. Когда наш автобус ломался (неоднократно), американцы толкали нас, помогали с ремонтом, и я познакомилась с двумя

американскими студентами, Доном и Джоном, которые проявили ко мне интерес. Они приехали в Индию чтобы найти приют для сирот меннонитской миссии, который дед Дона основал на рубеже веков. Джон пригласил меня поехать с ним в Катманду, но в день отъезда я заболела и не могла путешествовать (амебная дизентерия). Джон поехал один. Дон нашел меня почти без сознания на крыше дешевого отеля на Чанди Чоук в Дели, где мы вшестером арендовали место на крыше. Он привел ко мне врача и принес лекарства. В другой раз он купил мне омлет на железнодорожной станции в Карачи. Мы разговаривали, когда была возможность, и оказалось, что у нас схожие интересы. В Иране я заболела лихорадкой денге (очень заразной), которую я подхватила в хаммаме (бане) в Ширазе.

Дон снова помог мне. В Исфахане американцы проголосовали за то, чтобы высадить меня из автобуса. Американский врач отказался даже открыть мне дверь, когда я попросила его о помощи. Австралийский водитель знал о моем финансовом положении и понимал, что я не выживу, если меня оставят. Он предложил мне поехать одной в Тегеран, попытаться выздороветь и присоединиться к автобусу через неделю.

Дон пришёл проводить меня на местную автобусную станцию. Он смешал какой-то американский суп из порошка, сварил его на свечке и заставил меня съесть. Еще он дал мне аспирин и несколько американских долларов. Я поехала в Тегеран, заселилась в дешёвый отель, рухнула в постель, которая на самом деле была больше похожа на гамак с провисшими пружинами и, между рвотой и сидением на корточках над дырой в полу, я ничего не помнила, пока однажды утром не проснулась от сладкого запаха жарящейся рыбы. Я встала, спустилась вниз и впервые за несколько дней поела. Ко всеобщему удивлению, я вернулась в автобус в назначенное время. Путешествие продолжилось.

Мы проехали Индию, Пакистан, пустыню Белуджистан, северный Иран и предгорья Афганистана. Автобус постоянно ломался и в конце

концов развалился у подножия горы Арарат в Турции. Американцы поехали дальше без нас. Дон поехал с ними, а Джон появился в деревне с синяком под глазом и окровавленным носом. Они подрались из-за меня. Джон влюбился в меня, а я влюбилась в Дона. До этого момента мы даже не знали фамилий друг друга.

После того, что случилось в Сингапуре, я не собиралась вступать в новые отношения. Я стиснула зубы и была готова страдать.

Я отправилась в одиночку автостопом в Стамбул. Через две недели после того, как я покинула автобус, я шла по одной улиц Стамбула и снова увидела Дона. Я не могла избежать встречи с ним, поэтому мы остановились и начали болтать.

О своих чувствах я умолчала. Он сказал, что утром уезжает в Венгрию. Я ответила, что собираюсь в Грецию. Мы снова расстались, не обменявшись ни фамилиями, ни адресами. Я не надеялась, что когда-нибудь увижу его снова и уходя чувствовала почти физическую боль.

Судьбоносные встречи, судьбоносная открытка: феномен времени, который меняет жизни

Я вернулась в Англию автостопом, в Лондон приехала примерно в начале июля и сняла комнату недалеко от того места, где жила раньше. (Сухопутное путешествие из Сингапура в Англию нельзя адекватно описать в этом кратком рассказе — это отдельная история!)

Я пробыла в Лондоне около двух недель, когда произошло еще одна случайная встреча, которая изменила мою жизнь. Я шла по Бейсуотер-роуд, когда услышала как кто-то зовет меня по имени и увидела, что мне машет рукой моя бывшая хозяйка. Она была удивлена, увидев меня: «Я думала, ты уехала в Сингапур?»

Я сказала, что да, уезжала, «но вернулась».

«Я рада. Сегодня утром тебе пришла открытка из Америки. Я не знала, куда ее отправить. Собиралась выбросить, но вот ты здесь!» Открытка была от Дона. Его звали Дон Готтшалк, и он узнал мое имя и адрес у водителя автобуса. Он «думал» обо мне, гадал, что я делаю. Две случайные встречи: первая с Доном в Стамбуле, другая с моей бывшей хозяйкой на Бейсуотер-роуд, были явно «судьбоносными».

Но это еще не все. И Дон, и Джон были хорошо образованы, очень красивы, Джон был даже красивее, но лицо Дона казалось «знакомым» с того самого момента, когда я впервые увидела его в Индии. Я списала это на «родство душ». Спустя годы мой друг-художник поставил рядом фотографию Дона и фотографию моего отца, и я ахнула. Их едва можно было отличить друг от друга! То, что я приняла за «духовное узнавание», на самом деле было невероятным физическим сходством.

Мы с Доном начали переписываться. Я сняла для мамы и бабушки квартиру в лондонском районе Кенсингтон-Челси. Квартира считалась роскошной, потому что в ней было центральное отопление, отдельная кухня, ванная комната и даже лифт. Центральное отопление в Англии 1963 года было «чужеродным» и считалось нездоровым. Люди верили, что холод и лишения «воспитывают характер», а физический комфорт способствует лени и моральной слабости. Эти принципы были привиты и мне в детском доме.

Мама перешла работать в Philips Electric в Кройдоне. Я продолжала работать в офисах в качестве «временной» сотрудницы и писала короткие рассказы, радиопьесы и монологи для радио Би-би-си. По выходным я участвовала в эстонских мероприятиях, как и в Лидсе. Живя в Лондоне, я познакомилась с эстонским писателем Гертм Хельбемяэ, который начал публиковать мои стихи и рассказы в эстонской газете Eesti Nääl («Голос Эстонии»). Он был первым эстонцем не из моей семьи, который понимал меня и поощрял мое творчество. Он помогал мне с эстонским, я помогала ему с английским. Многие люди неправильно

понимали нашу дружбу из-за разницы в возрасте. Мы любили друг друга, но не так, как многие думали.

Полуангличанка, полуэстонка, полуписатель, жена и мать

Все мои эстонские романы, кроме *Puuingel* ("Деревянный ангел"), *Lotukata* ("В поисках кофейных гор"), *Sipelgas Sinise Kausi All* ("Муравей под синей стеклянной чашкой"), *Kaleviküla Viimne Tütar* ("Последняя дочь Калевикюла") и *Kolm Valget Tuvi* ("Перемещенные"), были о жизни в эстонской эмиграции. «Деревянный ангел» был моим первым романом о молодой девушке, живущей в Лондоне в начале 60-х годов. «Деревянный ангел» настолько отличался от традиционного эстонского романа, что потряс эстонские общины по всему миру. Он затрагивал современные проблемы и был удостоен самой престижной литературной награды Эстонии - премии Хенрика Виснапуу.

То, что могло стать поводом для радости, обернулось совершенно противоположным. Эстонская община в Лондоне не была готова к книге о реальном мире. Уведомление о награде доставили в мамину квартиру и оставили под ковриком. Жизнь эстонского писателя казалась сплошным разочарованием, пока я не написала «В поисках кофейных гор».

На английском языке я писала гораздо успешнее. Моя радиопьеса «Любители» была хорошо принята, мои рассказы регулярно читали по радио и, хоть деньги были невелики, я испытывала физическую потребность излагать свои мысли на бумаге. Я должна была писать, даже если не могла зарабатывать этим на жизнь. Работа на Би-би-си принесла мне еще и признание редакторов, что обеспечило более простой путь к публикациям и возможности увидеть своё имя в печати. Позже, в Америке, я слышала свой голос в эфире. Но я оставила и эту «карьеру», когда она была на пике и могла бы привести к широкому признанию. Я все еще была идеалисткой и не считала славу «истинным счастьем».

Я была влюблена в Дона Готтшалка. Когда он пригласил меня в Америку я поехала (так же, как уехала в Сингапур), веря, что настоящее счастье еще впереди. Когда в 1971 году моя автобиографическая радиопьеса «Когда все деревья были хлебом и сыром» вышла в эфир, я уже была в Филадельфии. Герт Хельбемяэ записал для меня постановку, но сказал, что у женщины, сыгравшей меня, был ужасный иностранный акцент, а эстонские слова (предоставленные эстонским посольством) были исковерканы до неузнаваемости и он решил не отправлять мне запись. Он подумал, что это может меня расстроить.

Я вышла замуж за Дональда Фредерика Готтшалка 9 октября 1967 года. Наш сын Тимоти-Рейн родился 29 августа 1968 года в Филадельфии. (Документы о разводе из Сингапура прибыли в Англию вскоре после моего возвращения в Лондон).

Дон тоже был из богатой семьи. Он был копирайтером в TV Guide, членом общества Mensa (мой сын Тим стал членом в восемь лет). Дон писал статьи об экзистенциализме, был художником, любил классическую музыку, читал философию и хотел стать музыкантом. Его университетские диссертации были посвящены истории России и Америки. Он бывал в Риге, в Латвии, и слышал об Эстонии. Я думаю, Дон видел во мне воплощение своих многочисленных интересов, особенно тех, которыми он не мог поделиться со своими американскими друзьями. Позже он стал редактором и владельцем нескольких журналов. Мы жили в достатке, много переезжали и самые запоминающиеся годы провели на острове Сент-Саймонс, штат Джорджия. У меня вышло две книги в Америке (в издательстве «Томас Нельсон и Делл»), и одна в Англии (в издательстве «Пингвин/Кестрел»), я писала статьи для журналов и даже занималась копирайтингом для рекламного агентства. Дон поощрял мое творчество, но это был тот случай, когда два творческих человека пытались вести домашнее хозяйство и после рождения Тима мое

писательство начало отходить на второй план. В 1975 году мы с Доном и Тимом переехали в Англию.

Моя бабушка уже умерла, это произошло в результате взлома и нападения в нашей лондонской квартире. Она умерла в июле 1974 года. Герт Хельбемяэ умер на той же неделе, в той же больнице. Их смерть глубоко потрясла меня. Особенно смерть бабушки. Она была моей единственной духовной опорой и, возможно, единственным человеком, который всегда по-настоящему любил меня.

Я не знала маму до того, как стала взрослой. Мы жили вместе совсем недолго и в детстве я всегда называла ее «моя подруга». Мы действительно стали очень хорошими друзьями в Лондоне и были очень близки, пока у нее не случился первый инсульт летом 1975 года. В июне 1981 года у нее случился еще один инсульт. После второго инсульта она осталась парализованной и не могла говорить четыре года.

Мы с Доном вернулись в Америку. Мне пришлось отдать нашу лондонскую квартиру. Правительство предложило мне за неё небольшую сумму денег (8 000 фунтов стерлингов), но Дон не захотел их брать. Он был болен. Когда я отказалась от квартиры, я отказалась от единственного «дома», который знала с тех пор, как уехала из Эстонии. Мое последнее воспоминание - как я сидела на тротуаре в бабушкином кресле-качалке и ждала, когда меня заберет друг на фургоне. Порыв ветра пронесся по мусорным бакам и принес мне на колени маленький клочок поздравительной открытки ко дню рождения. На нем были слова: «Элин от ее Мяммы!»

Дом, семья, близкие: всё сметено с моих подошв невидимой метлой

Стало очевидно, что болезнь Дона не поддается лечению. Он с детства страдал маниакальной депрессией. (Я узнала, насколько он болен, только когда была на восьмом месяце беременности). Его родители

потратили тысячи долларов на всевозможное лечение: лекарства, психиатры, электрический шок и, наконец, операция на мозге, но ничего не помогло. После операции он едва мог встать с постели. Дон покончил с собой 31 мая 1983 года.

Моя мама умерла 1 января 1985 года в Лондоне. Когда я получила это известие, в Америке все еще был канун Нового года. Я встретила 1985 год в одиночестве с сыном подростком. Все умерли. Бабушка Альма умерла в Хаапсалу в 1960 году. Дядя Пол умер в Бразилии в 1961 году. Отец умер в Таллинне в 1973 году.

По-английски, когда кто-то умирает, говорят: "Я потерял его" (или ее). "Как несерьезно", — можете сказать вы, — "потерять" любимого человека! Теряют зонты и камеры, а не людей. Но у этого эвфемизма есть одно преимущество: он позволяет ощутить ту самую нереальность, которую я столько раз испытывала, сталкиваясь со смертью или окончанием чего-то. Время останавливается, и вы думаете: этого не может быть, эти люди не могут быть мертвы. Они должны быть где-то здесь, просто мы их не видим. Мы всегда жили без тех, кого любили больше всего. Они всегда были где-то: в Эстонии, в Англии, в лагере, в другой стране, на "службе" а может просто дремали в соседней комнате. В Эстонии все друзья моей бабушки были на кладбище, но это не мешало ей разговаривать с ними, пока мы пропалывали их могилы. Она разговаривала со своим "любимым Эрни" каждый раз, когда мы ходили к его памятнику. Она рассказывала ему, что делала, что происходило днем. У меня было ощущение, что смерти нет, есть только долгое отсутствие и постоянное ожидание: вы знали, что увидите их всех снова, просто не знали когда!

Жизнь - это настоящая история

Сейчас я живу в Клируотере, на западном побережье Флориды. Я купила себе мобильный дом и сравниваю его с вагоном в "Восточном экспрессе". У него есть все необходимое для жизни на колесах, за исключением одного – он стоит на запасном пути не имеет пункта назначения. Когда я открываю окно в коридоре, мимо проносятся не Рим или Париж, а само время, которое заметно по ржавеющим металлическим навесам соседнего дома. Нет ощущения скорости, лишь настоящая потребность в недостижимом. Возможно, недостижимое всегда и было моей целью.

Мой сын - взрослый человек. У него своя семья. Я стараюсь не оставить ему то наследие, что досталось мне: несбывшуюся судьбу. Другими словами, он не должен быть обременен заботами, которые не переводятся на английский язык. Моя история типична для конца эпохи в Европе, для людей, которые пережили войну, но были побеждены обыденными, повседневными требованиями мирного времени.

У меня есть три (легальных) паспорта: британо-европейский, американский и эстонский. Личные вещи ждут меня по всему миру. Некоторые были оставлены там намеренно, другие потеряны, украдены или отданы. В Англии я навещаю кресло-качалку моей бабушки, наши полотенца, посуду, книги и мамин письменный стол. Мы проводим несколько минут вместе и в эти краткие моменты я снова чувствую себя "дома".

В Ранна, в Эстонии, на Чудском озере, у меня есть пара красных сапог, а история семьи Сауль сосредоточена в Кодавере, где родилась моя бабушка. У меня есть чайная кружка и кроссовки в Нымме, недалеко от Таллинна, где мама жила и любила моего отца. Есть пара джинсов в Тарту, в городе, который ассоциируется с Энно. В Хаапсалу лежат вещи, которые мы вывезли из Эстонии в 1944 году. Я вернула их назад на 120-

летие Эрнста Энно в 1995 году. (Прах моей бабушки также находится в Хаапсалу, похоронен рядом с её мужем).

Я испытываю чувства легкости и освобождения, связанные с физическим наследием моего прошлого, которое было увековечено в биографии Энно. Лично для меня в Эстонии нет ничего, кроме того вида из окна нашей кухни. Я помню, как стояла там, в Тихой Лагуне, возможно, в последний раз, в июне 2000 года. Я смотрела на море, охваченная знакомым чувством нереальности и думала, что, возможно, никогда уже сюда не вернусь и в то же время чувствовала, что никогда и не уезжала!

Заметки

- 1. История была опубликована в сборнике, составленном Хинрикус, Рымм, ред. 2000. Eesti rahva elulood: Sajandi sada elulugu kahes osas, II osa [Жизненные истории эстонского народа: Сто жизненных историй века в двух томах, том 2], 243-55. Таллинн: Тянапяев.*
- 2. Перевод Элин Тоона Готтшалк.*